АНДРЕЙ ЯЗОВСКИХ
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИРА
IQ
100+

Андрей Язовских

Три с половиной мира

«Издательские решения»

Язовских А.

Три с половиной мира / А. Язовских — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903758-9

Все так и останется… Великий дракон продолжит путешествие вдоль нити времени. Забавные органические недоразумения, называющиеся разумной жизнью, будут думать что управляют своей судьбой. В этой истории вряд ли добавится смысла, даже если пересказать её три с половиной раза…

ISBN 978-5-44-903758-9

© Язовских А.
© Издательские решения

Три с половиной мира

Андрей Язовских

Иллюстратор Алина Сергеевна Вересова

© Андрей Язовских, 2018
© Алина Сергеевна Вересова, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-3758-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Кто я?

Из беспамятства невозможно вынырнуть разом. Тусклая свеча сознания разгорается неохотно, мир раскатывается хрупкими фрагментами, словно старинная бумажная карта из древнего свитка, и будто слышно со стороны как маленькие шестеренки со скрипом раскручиваются в мозгу, как разносятся эхом осторожные шаги заплутавшего в реальности разума. Тычется по сторонам, цепляется за что-то, едва отраженное в памяти, липнет, принюхивается к следам.

Что это такое висит перед носом? Слюна с кровавыми пузырями? Тянется дрожащей ниткой, обрывается, беззвучно ударяется о приборную панель. Беспокойно мерцающие огоньки и противный, зудкий писк аварийной сигнализации. Все это непременно должно что-то значить, должны были научить. А удобно ли вот так висеть кулем на ремнях и заливать слюнями приборку?

Машинально ударил по кнопке, – объятия ремней разомкнулись, отпустили тело. Панель ринулась навстречу, пилот с грохотом упал на ряды кнопок и циферблатов, перевалился кубарем к самой прицельной рамке…

Боль. Пока еще такие же лампочки и сигналы, рекомендующие притихнуть, поберечься. Он послушно замер и обнаружил, что вот так лежать гораздо проще, уютнее: свернувшись калачиком, ручки-ножки подобрав к животу. Главное – ни о чем совсем не думать. Ни кто, ни где, ни зачем… И ни в коем случае не шевелиться, иначе новая волна боли раскатится по телу, накроет с головой, шуганет сознание и вновь окунет тогда в горячую ватную пустоту небытия. А вот оно, небытие, в сантиметрах от глаз клубится за лобовым стеклом. Плывет, как и положено ему плыть, от носа к корме и ничего больше привычного и приличного в нём нет. Хорошо разве, когда пилоту штурмовика не видно ничего? Ни ангара, ни звезд, ни Земли, ни Луны? Вредитель-диверсант гадостью какой-то колпак замазал, не иначе…

Мысли расползаются, словно трещины по стеклу, пока не лопнет все разом, не прорвется кошмар. Влепит реальность плотную бодрящую пощечину и выбросит из обморочной полудремы с холодным оглушительным звоном, и заставит думать и действовать.

Так…

Целостность и герметичность кабины не нарушены.

Основного питания нет, объем аварийного не известен.

Сориентироваться по приборам невозможно.

Сориентироваться визуально невозможно.

Постоянная сила тяжести есть.

Положение корпуса корабля стабильно.

В гравитационном поле корабль ориентирован «кормой вверх».

Пилот жив, в сознании. Состояние неизвестно.

Что еще???

Все, больше данных нет.

Что там, снаружи? Да черт его знает. Но что бы ни было – хорошего не жди. Поживем, – увидим. Это если поживем.

Стискивает зубы до сыпучего хруста, рвется, трепыхается в тесной кабине, продирается в корму к спасительному люку. Спасет ли? Люк внутрь откидывается, так что надежда есть. Добраться только осталось.

Какая скотина этот лаз проектировала? Почему же неловко так? Совсем не за что ослабевшим рукам хвататься. Рвутся связки кабелей, маслопроводы с креплений отскакивают, скользят в руках, голосит на все лады агонизирующий корабль.

Вверх! Пара метров всего осталось! Жарко. Обжигающе горячо. Не терпят руки пекла погибшего двигателя, догорающего за тонкой переборкой. Копоть замкнувшей проводки грудь каверкает, слезы глаза заливают…

Ну, вот он, люк. Теперь только закрепиться хоть как-то осталось, а запоры и на ощупь открыть можно. И тогда уж ясно станет, что там снаружи… Всего на секунду замешкался в нерешительности: а вдруг смерть прямо за стальным кругляшом притаилась?

Бьет люк наотмашь по скуле, врывается внутрь вязкая вонючая жижа, наваливается на грудь, хочет похоронить совсем под собой, в себе. Стонут сухожилия в пальцах, расползается натянутая кожа, судорожно пляшут ноги на хлипкой опоре. И вдруг кончается натиск внезапно… и снизу, из уже залитой жижей кабины, словно гигантский слизень выползает пузырь воздуха. И толкается в узком лазе, пытается опередить, оттеснить, вырваться наружу. Ну уж нет! Пилот тоже не желает в железном гробу оставаться! Он тоже вырвется, протиснется, ускользнет. Последним усилием вытолкнет себя из люка, успеет еще отхватить от пузыря вздох. Не прощает пузырь жадности, уплывает. Хотел его догнать, оттолкнувшись ногой от края люка…

И все… Больше нет ничего… Одна только бесконечная вязкая жижа вокруг.

Зачем я?

Где я?

Кто я?

1.1

А труднее-то всего к живым камням привыкнуть…

Как будто бы вляпываешься ходом в паутину, вздрагиваешь от неожиданности, и цепенеешь, пойманный. Головушку кто-то незаметно на сторону заворачивает легонько: ступай, дескать, туда. Избавление там, и покой, и всякая благость. А ноги уж вперед тебя поправляются, как вроде и не хаживали с утра. И вроде голоса какие слыхать… Подумай, может и радоваться надобно, но сердце и не шелохнется вовсе. Щуришься, продираешься сквозь кусты, а в голове прежняя пустота и гулкая сонливость.

А он, камень-то живой, стоит посередине поляны. Черный такой, будто всю тьму мира в себя вобрал, и взор собою загораживает, хоть и не велик. Повыше росту, но не много. И чувствуешь себя рядом с ним эдакой букашкой хрупкой, завороженной, что и не знаешь, зачем пришел, да чего хотел. Волосы на загривке дыбятся от жути, а чего бояться – не понятно.

Вот первый-то раз, когда Олекма к каменюке вышел из лесу, так неизвестно сколько времени стоял, рот разинув. И наваждения всякие мерещились, и тоска наваливалась щемотой грудной, а то еще смех разбирал. И звенело все в голове, как в столовской кастрюле, а потом словно издалека гудение нудное донеслось. Вроде того, что в телефонном аппарате при вызове бывает. Тогда только и опомнился.

Гудел коммуникатор на затылке, нечему больше гудеть. А с чего? И подумалось Олекме, что это вдруг он от радиации гудит, бережет? Ох и припустил он тогда от камня! Бежал, покуда вовсе без сил не свалился. Пал, где пришлось, долго отдышаться не мог. Рвет чужой воздух легкие, так что по всему телу жжет. И жара, того и гляди расплавит совсем. Градусов 25 поди, страшно подумать.

А решил потом: пустое. Была б радиация в лесу – так и давно уж спекся Олекма. Деревья же растут как-то? Хоть и вид у них совсем чужой. Дома деревья совсем другие. Вот береза к примеру. Ствол у нее белый, с черными почеркушками, гладкий. Загибами своими под самый потолок парковый забирается. А веточки висят, и листики на них крохотные такие, резные. Колышутся, подрагивают мелко под вентиляционным сквозняком. А еще – сосна. На той листочков уж нет, – иголки. Сосна возле корня толста, и будто сила из нее прет, аж кору изнутри разрывает. Сосна пониже березы, вширь раскидывается. И пахнет от нее хорошо, больницей как бы.

Олекма страстно в парк любил ходить! У него и хитрость своя была: перед прогулкой ботинки старого образца надевал, на шнурках которые. Мать-то в кубрике много барахла всякого хранила. Так вот: перед пропускным пунктом на входе как бы случайно на шнурок наступал. А потом, на тропе уже делал вид, что заметил непорядок в обувке. Отходил к самому ограждению, чтобы не у кого под ногами не мешаться, приседал да завязывал. Вернее, вид делал. Сам украдкой траву сквозь арматуру ограждения щупал.

Всякий раз как в парк-то, слышь, сходишь: потом настоящий лес снится! Причем явственно так, с запахами, с птичьей болтовней. И бежал Олекма во сне через лес, и мелькали в глазах стройные ряды огромных деревьев, и никакого краю лесу не было. Особая жадность до жизни захватывала после снов тех детских. Потому что верилось отчетливо, что мечты сбываются.

Вот и сбылось теперь, получите и распишитесь. Перемечтал видать, накаркал…

А ведь сколько уже? Неужто целый месяц идет Олекма по лесу? Находился – сил нет. Насмотрелся на деревья, и на травы, и на цветки даже – до сыту. Что аж противно. Только ни докуда не дошел пока. А надо. До зарезу надо.

День за днем тянутся густым полосатым потоком. Солнце взошло? Что, опять? Да сколько же можно… Едва приподнимется над лесом, хоть плачь: уж до того невыносимая

яркость в лучах, что слезу вышибает. Человеку неймется, человек упорствует: тащит себя и свой организм изнывший сквозь чуждое пространство. Увязает в траве густой, шершаво ноги облизывающей, сквозь кусты ломится зажмурившись. Всяческие трудности на пути…

А еще в реку упал. Всякий ли знает – что такое река? Слово то забыли, не то что суть. Вот чтоб мне пусто было – воды в ней по грудь, и шириной метра три! А вода-то еще и тащит с собой, и опрокинуть с ног норовит. Бр-р-р аж. А самая-то жуть с чего? А с того, что ничейная она, вода! Пей, покуда не лопнешь!..

И пил, проклиная себя за то, что влазит не лишку. Раздувшееся пузо булькает, колышется в стороны – того и гляди: выскользнет драгоценная влага с любого конца… Едва не помер с натуги. Дома то, в крепости, мудро заведено: по малой норме воду отпускать. Нам ведь дай только дорваться… А как работать потом, если даже просто идти тяжко? Словно свинцом ноги налились.

– Давайте, родненькие! Надо шагать. Пока солнце совсем над темечком не повисло, пока понятно куда идти! После отдыхать будете!

Не слушаются ноги. Нету у ног привычки по неровной земле ходить, через корни скакать, листья павшие пинать. Гудят ступни в драных ботинках, мозоли горят. Грудь разрывается от каждого вздоха, пот глаза заливает… Копошится человек, вершина творения, ползет, извивается. Где бочком, где на коленках, где напролом. Ночью жмется в комок, зубами занозы с иголками из кожи да из-под ногтей выдирает. А руки зудят, так что мочи нет. И не знаешь, куда их девать. Ноги щупает. Ну что вы, ноги? Зачем ноете? Где в вас боль засела, нацепялась? А то вздрагивает еще крупно, всем телом. Что там? И в сон проваливается все так же; одна рука пальцами в зубах, другая ноги баюкает. И наваливается одеялом белый шум, который нигде и отовсюду, которым вся планета про Олекму болтает да сплетничает.

А и вправду, кажется иногда, что все кругом живое. Но ведь не может такого быть, правда же? Чтобы все занято жизнью было, чтоб без малейшего просвета, чтобы одно на другом? На деревьях мох, под деревьями грибы. Во мху червяки, в траве жабы и змеи. В воздухе жесткокрылая мелюзга. Если куст цветущий неосторожно задеть – так и вовсе вытянутой руки не видно! Бежать тогда приходится подальше, пока ноздри не забились. Цветы красивые конечно, всех возможных и невозможных систем. Двух одинаковых не сыскать. А уж воняют так густо, что голова кругом. Птицы между цветками перелетают, грызуны по веткам скачут, питаются чем-то. Вот смотри на них, на ус мотай. Чего едят-то они, так это может без яду. А ладно хоть никакой живой твари крупней не попадается, и на том спасибо.

По сторонам глянь – не шибко дальше носу видать, до того дремуче. Это джунгли называется, то из книжек известно. Ежели вспоминать, как и по куда вышагивал, так ясно, что почти по ровному идешь. Ну, не чета казарменному полу, но и не горы. Разве только холмы иногда бывают. Реки еще. А в болото, видно единственное на всей планете, Олекма умудрился на штурмовике рухнуть. Фу ты, пропасть! Как вспомнишь жижу ту, липкую, вонючую, так аж в озноб бросает. Вот и осталось в распоряжении только что на себе было. То есть – ничего, считай. Все в трясине сгинуло. А хоть нет худа без добра: пал бы на тот же самый живой камень – точно убился бы.

Камни почти каждый день встречаются, заманивают к себе. Страху уж нет теперь, одно сумасшествие. Хочется об них жаться, тереться, головой биться. Или отломать кусок. Зачем только? Оружие какое смастерить из осколка? А если долго в камень смотреть, в самую его глубину, так и себя увидеть можно. Феномен оптический, не иначе. Зрелище совсем уж жалкое: оборвался вкрай, исхудал, оброс. Скулы с ушами из черепа торчат, и глаза провалились.

Заснешь возле камня-то, так люди снятся. А все почти, кого в жизни повидал. Ну и Мамка, ясно. Вот будто ходит она по поляне, мерит ее словно кубрик из края в край, и бубнит:

– Говорила я тебе, Оля, предупреждала!..

А он огрызается привычно:

– Какой я тебе Оля? Это девчачье имя, так гимназистку одну зовут! Олекма я!

А Мать так и мается кругом. Вот только плачет еще, чего при жизни никогда за ней не водилось.

В крепости не любили ее. Уважали, конечно – Ученая как-никак, из размороженных, кого в войну еще в анабиоз упечатали на будущий расплод. Таким, *прежним*, отдельный почет оказывался. Вот так и было: ценили, но не любили. Шибко взбалмошной была, все с критикой да советами лезла всюду. Это когда дома появлялась. А так на работе все больше. Там где-то и сгинула, вскоре после того, как ей премия вышла национальная.

Кричали тогда по новостям: «Научный прорыв! Колоссальная победа свободного разума!» Отцы-командиры брали ее за локоток, отводили в сторону от телекамеры, шептали чего-то на ухо. А она руку отнимала дерзко, и новый скандал закатывала. Мнилось ей, что военные изобретение в неправильных целях использовать станут. А в каких таких – неправильных? Вот, изобрела прибор «коммуникатор». На затылке он имплантируется, и если довелось тебе встретиться с кем, который по-нашему не разговаривает, так прибор вроде мысли его разберет, да и переведет тебе. «Преодолеет языковой барьер», как Мать сказывала. Ну, а чьи мысли-то читать? У нас в крепости все худо-бедно понимают друг-дружку. И в соседних тоже. Как ни крути, через коммуникатор только с лунными выселенцами беседовать. А в сторону Луны, окромя военных, и не летает никто.

Вот, Мать Олекму в лабораторию свою выписала, прибор к затылку приладила, испытывать станем, дескать, когда приживется-то. А после, дома уже, книжку с полки взяла. Говорено – всякого барахла у нее имелось. А в книжке, слышь, даже букв нет. Одни только каракули рядком, сверху вниз. А мать-то смотрит на них, и давай лопотать да щебетать. А у Олекмы в голове и вправду разумение выходит:

Блестят росинки,
Но есть у них привкус печали.
Не позабудьте!
И еще:
В небе такая Луна,
Словно дерево спилено под корень:
Белеет свежий срез.

И спрашивает после, ясно ли? Ну а чего тут не ясно: роса – это конденсат, на трубах который иной раз бывает. Так вот, с малолетства всем крепостным вдолблено: слизывать влагу нельзя, какая бы жажда не навалилась. В росе грибок заводится. А налижешься, так и будет печаль, когда станут тебя по коридорам мертвого носить.

А про Луну тоже ясно: это из-за проклятых выселенцев теперь на земле деревьев нет. Затеяли Войну, сволочи, а нам теперь в подземельях жить. Ну, ничего, поправим. Судьба наша в том великая.

Мать долго глядела на Олекму, сурово эдак, задумчиво. После обняла крепко со вздохом, не отпускала от себя. По голове гладила. Да забылась видно, стала волос Олекмин перебирать, гнид высматривая. Отстранился сын:

– Что ты, Мать, делаешь? Извели вошь всю, слава Отцам! Нету ее боле.

1.2.

У Матери много книжек было, десятка полтора поди. Вот одну особенно упорно заставляла читать. До ругани аж.

– Мама! В школе много задают, спрашивают после! Зачем мне прошлое?

Книга-то ее совсем пустая казалась. «Энциклопедия выживания». А писано в ней про то, как если ты заблудился в пустыне или в лесу, так как тебе быть-жить, чего съесть, да куда податься.

– Мама, даже Отцы говорят, что не одно поколение еще сменится, когда вновь леса-то на Земле станут! Отдай книгу в общий склад до Лучшей Судьбы. Не хочу читать, тоска у меня с нее, и мечтания несбыточные!

А она твердо на своем стояла. Как знала будто…

Теперь-то уж Олекма всю головушку исцарапал, силясь страницы припомнить. Кое-что и помнил:

Про звезды там было, да толку что? Другие тут звезды. А так бы ночью хорошо было идти, не жарко. И солнце не слепит. По солнцу тоже можно, оно всегда на западе встает. Или на востоке? Вот же незадача, забыл. Но решил, что на востоке, и стало быть север по левую руку.

Про мох вот еще было писано, вспомнил. Тоже на северной стороне стволов расти должен. Давай смотреть. Мочалка эта, что трясется мелконько, – мох? Ну, пускай. Полночи по лесу шарился, разглядывал стволы, а оказалось, что в сторону ближнего живого камня мох-то растет, а не на север вовсе. Да и сами деревья понатыканы вовсе не рядами, как во снах-то снилось. Это ж нарочно такого бардака не учинишь, только если с умыслом, – путать чужих.

Так и плетется Олекма по чужой планете. Мыкается, спотыкается, но идет. А к чему идет – не знает толком. От того и тоска гложет его. Как же так, совсем один? Странное, незнакомое чувство. Это в крепости живешь когда, всегда знаешь, что рядом люди. По коридорам шарахаются, на лестнице башмаками гремят, за стенками-перегородками бытуют свое… На верхних и нижних уровнях… Тех-то не слыхать, но все равно чуешь их как будто, если знаешь что есть они. А тут – один. Да и в крепости каждый угол известен, а тут же совсем ничего нет, к чему привычка и сноровка имеется, а не так, чтобы по книжкам… Зато колючки

обязательно в том месте, куда рукой схватиться охота, и скользко под ногами там, где падать больнее и обиднее. Верно говорю: нарочно это, с издевкой подлой!

А вот дождь-то пошел, это ж надо!!! Вода, да и с неба льется! Да сколько же ее – тьма!.. Сначала открытым ртом ловил, но так куда идти не видно. Просто язык высовывал тогда. А потом рукой махнул. Да и что с нее толку, на всю жизнь-то не напьешься, так ведь? Проверено.

В прежние времена водой мылись, говорят, кто познатнее. И попробовать охота, но тревожно. Это в реку свалишься когда, так выскакиваешь из нее пружиной. А вот чтобы решиться рожу умыть, это другое. Глупости на ум идут: а вдруг там крокодилы, в реке-то? Станет Олекма пот да грязь лесную водой по себе размазывать, а крокодил из реки как выскочит, как схватит за нос, и откусит насовсем. Неприятная она, вода; мутная, мятежная, когда без всякой меры ее. Чай человек – не рыба, не его стихия…

Так и не зверь человек-то, не приучен пищу себе искать да ловить. Дома о пище только когда думаешь? Только если наказан за провинность и лишен. Вот тогда и уркает в животе, тогда и силишься припомнить, где и когда накосячил. Стоишь возле столовской двери, пихаешь турникет легонько, не веря беде. Слушаешь, как заманчиво люд в общем зале ложками об миски шкрябает. А вышкрябае все когда, так уж неспешно из дверей выходит, пыхтит даже. И обрызги пищевой пасты со щеки слизнуть норовит. Не рукавом же…

А здесь долго решиться не мог, чтобы плод какой испробовать. Только известно, что голод не тетка: насмотрелся Олекма на зверюг ушастых и решил что это зайцы. А коли зайцы яблоки едят и не дохнут, так и нам значит можно. Съел. Вот, сел ждать чего будет. И зайцы тоже сидят на дереве, смотрят на Олекму, жуются. А то еще роняют в него корку. Так что же, они без корки едят разве? Может она ядовитая?

Тяжко обвыкался Олекмав чужом лесу, мыкался наугад да наудачу. И от того, что никакого разумения к чужому нет, становилось тошно и обидно. Особенно ночью, когда кругом в кустах стрекотня неведомая и мельтешение тревожные, и сон не идет, и мысли одолевают.

Думалось даже ненужное: что вдруг он, Олекма, умер? Вот у выселенцев-то лунных – религия, чтоб им пропасть вместе с нею. Так говорят, они после смерти не в переработку отправляются, а в Ад. Ну, думают они так про себя. Больные, что с них взять… А в Аду пламя, и они там жарятся. Поделом.

Вот и чудится Олекме что он как есть в Аду. Жарко же, мочи нет. Мудрых отцов тоже нет, некому руководить. Сам про все думай, решения принимай. Сожрешь чего, помрешь – сам дурак. Чего с эдакой прорвой воды делать – эту задачу даже размороженные прежние людишки не решат, хоть бы и голову об дерево расшибли. Со злобы кидает Олекма в реку палки и прочий мусор. Мука. Наказание. Всем до единого крепостным хватило бы с лихвой. А только где те люди? Так и есть – Ад. Ибо сказано Отцами: Только вместе достигнем великой Цели, свершим Судьбу Человечества! А кто не с нами – тот против нас.

Сиди теперь, с зайцами в гляделки играй. Ну что, не помер? Тогда подымайся да и шагай, чего расселся?

От всякой скотины не шарахается уж, сколько можно… Иную, у которой зубов да когтей не видать, сам шуганет. Хотя и оглянется потом, не затаила ли обиды? А кровососов и прихлопнуть можно, пусть не лезут.

С яблок в животе побулькало маленько, но не стало ничего дурного. Вот и ладно. Стал Олекма смелее питаться, разнообразнее. И даже во вкус вошел. Все кругом разные плоды попадаются, одни мохнатые, другие долгие как носок. И окрасов таких диковинных, что и не подумал бы. Вот те еще симпатичные, да и этих не видал… Так и совал в рот чего ни попадя…

Пока не отравился.

1.3.

Сначала голове нехорошо стало, словно оказалась она в центрифуге. Грудь горит пламенем, по костям сухой треск крадется, кишки связались комком тугим. Решил тогда Олекма, что доигрался, что теперь уж точно помрет. И мысль эта даже облегчение принесла. Единственный теперь уж вопрос остался: сколько же продлится мука?

Невыносимо долго смеркалось. Жара в лесу отступала, и все сильнее разгорался утробный огонь. Человек извивался, лежа под каким-то дурацким деревом, и смотрел, как с его верхушки наблюдает за ним местная птичка. Симпатичная такая… Немного на орла с петлиц похожа. Неприятно любопытство пернатого. Вот так думаешь всю жизнь, что если вдруг не в бою геройски погибнешь, а помрешь в казарме как баба – так хоть снесут тебя в белую ванну, да растворят по-человечески. А тут птица сидит над тобой, и любопытствует: помер ли уже, али нет? Рывком отвернулся, завалившись на бок, и увидел муравьев.

Вспомнил, как в школе про них рассказывали. Что сильные они и умные, что огромные муравейники строят. Что мигрируют иногда, и в тех случаях дорогу им не переходи. Вот и эти как раз шли куда-то по своим делам. Бодро, деловито. Тихонько пощелкивая своими членистыми ногами и челюстями лязгая. Некоторые яйца несли, другие – мусор, животин каких-то, потрепанных изрядно и совершенно точно не живых.

Может муравьи быстрее прикончат? Толпой-то? Птица, не дождется если, – смаковать будет, а тут: р-раз, и готово. Мгновенно разорвут. И в этот момент до того мерзко стало… За все мытарства, за то, что призрачная надежда на спасение где-то недосягаемо далеко, и не ясно даже – есть ли она… Заворочался неуклюже, зубами заскрежетал от негодования, и попытался руками непослушными хоть листьев прелых в горсть сгрести, чтобы метнуть в тварей этих. Куда там, – как черепаха перевернутая, беспомощно копошился едва. И слезы даже навернулись. Будьте вы прокляты, муравьи. И птица заодно. И Война, и Судьба, и Луна с фанатиками, и сама Земля вместе со всеми казармами!.. Будьте вы все прокляты, и сгиньте в неведомое, как и Олекма сгинул…

Замыкающий муравьиной колонны обиделся на судорожные плевки, встал как вкопанный. Медленно развернулся, будто нехотя. Щупает воздух усами, голову высоко закидывает. Потоптался еще для верности, глянул на удаляющийся коллектив, прошипел чего-то вслед. Хвалился наверняка, что столько мяса нашел. Скрылась уже колонна, никто не вернулся на подмогу.

Вот и случился у Олекмы первый бой насмерть. Только не на околоземной орбите, как представлялось, не за штурвалом. И не было в бою том геройства, решительного долга перед Отечеством… Чести не было. Какая такая честь: от муравья отбиваться?

Муравей оттолкнулся сразу всеми шестью лапами. Обрывки травы полетели назад, а сам он, сложив занесенные для смертельного удара серпы челюстей на самой спине, ринулся на Человека. И пока летел те несколько метров, что отделяли его от жертвы, жертва с непоколебимой отчетливостью поняла, что умирать не желает.

В летной учебке физподготовку ненавидели люто. Ворчали с пацанами после занятий, негодовали. Ну правда – зачем пилоту борьба, да бег дурацкий по круговому коридору? А вот поди ж ты. Как заглянет смерть в личико, – не так еще затрепыхаешься. И забудешь что неважно, и вся суть в голове проступит отчетливо. Этому уж не научат, хотя и пытаются. Лежа под деревом, разрываемый изнутри инопланетной заразой, знал, что тело не подведет. Муравей еще летел, широко раскинув лапы, а Олекма уже мысленно выиграл эту схватку.

Как только зверь навис над Олекмой, готовясь вонзить челюсти в тело человеческое, он что было сил схватил его за голову. Пальцы коротко скользнули, провалились в отверстия глазниц. Смрадная дыра, окруженная тысячей жвал, оказалась прямо перед глазами. Собрав все оставшиеся силы, человек прижал муравьиную голову к груди и рванулся на сторону. Хитиновая шея хрустнула оглушительно, и Олекму придавило поверх обмякшей туши еще и запозда-

лым страхом – вдруг банда муравьиная вернется? Станут ли мстить за товарища? Весь в слух превратился, оттого что знал: больше ни с одним противником сегодня уже не справиться.

Птица расправила крылья, потопталась немного на суку, словно не могла определится с направлением и улетела, решив искать легкой поживы в другом месте. Всякая мелочь вокруг равнодушно занялась своими делами, очнувшись от пугливого оцепенения. А Олекма долго еще сжимал в судорожных объятиях мертвое тело муравья, терзал скрюченными пальцами волоски между хитиновыми щитами, и даже зубами впился в ближнюю из лап.

Лапа неожиданно податливо трестнула, как наградная конфета с жидкой начинкой… Муравьиная кровь оказалась густой и липкой… Она не вытекала, не брызгала… Она стремилась, словно муравьиная жизнь вовсе не оборвалась мгновения назад, а продолжалась в ином обличии и жаждала мщения. Наполнив рот, немного поплутав в носоглотке, хлынула в горло. Раздула измученный желудок ровно на усилие разрыва, всосалась через стенки и необратимо смешалась с кровью Олекмы.

***

Он снова летал.

Пусть даже во сне…

Просочился из тела и неспешно потек сквозь траву, словно сбежавшее из гидросистемы масло. Раскатился лужей вокруг дерева. Все шире, все тоньше… Воспарил. Поднялся туманом, запутался в переплетении кустов, пропитался цветочными ароматами. Вместе с набежавшим прохладным ветерком вывалился в русло речушки. Гонялся с потоком, кувыркаясь в излучинах. Виртуозно жонглировал неисчислимым роем мошкары. Дышал сам собою…

По детским снам Олекма знал, что лес прекрасен, но он оказался еще упоительнее, еще изумруднее, стократ величественней любого стадиона, любого космодрома. Искуснейший орнамент речных изломов одним бесконечным фрагментом проносится внизу, и хаос его был изящнее любой математической строгости. Всякая живая тварь знает свое дело, вершит его спокойно и размеренно. В осанке богомола, стерегущего гнездо, несравнимо больше достоинства, чем у всех музейных героев. Рыба, таящаяся в излучине, заведенной пружиной готовится к броску. Цикада над водой закончила кладку и упадет теперь, чтобы рыба не ждала напрасно. Яйца в кладке, у которых нет еще ничего, кроме судьбы. Судьбы стать мизерной частью, без которой не будет целого Леса.

Каждую былинку, трепещущую хотя бы дуновением жизни, сплетали незримые и нерушимые нити. Не уздали, не путали… Объединяли. Гармония торжественно звучала на этих струнах. Бесконечное кружево, вьющееся, струящееся к своим основам – живым камням.

Душа Олекмы обнималась с птицами, грациозно пронизывающими пространство. Вместе они любовались расстилающимся ночным пейзажем, орали от восторга и незамысловатого счастья. Кувыркались, метались и соперничали беззлобно, – кто поднимется выше, кто силой крыльев своих сумеет оттолкнуться от самых высоких в атмосфере молекул воздуха?

Эта земля прекрасна. Совершенна. Может быть даже совершеннее его родной Земли, какой она была до свалившихся на нее бед и несчастий. С орбиты так невыносимо больно тосковать по тому, чего не застал своим рождением. Что забрали у тебя еще до того, как ты обрел возможность защищаться и защищать.

Зажмурившись бесплотно, но так пронзительно осязая экватор, как хрупкую талию мимолетно знакомой гимназистки, вдвоем и наедине с целой планетой порхали в бесконечности. Солнце кружилось и кружило, пространство вибрировало в такт, орбитальный мусор блестел и шелестел искристым салютом. И было так же немного щекотно от наивной, невинной радости.

И все так же опрометчиво моргнув наоборот, как оспины на щеках гимназистки, он снова увидел рваные клочки света в ночной мгле севернее экватора. И снова непреодолимая сила

рванула и потащила его оттуда, где было хорошо и привычно, впихнула и запечатала надежно в бренное тело.

1.4.

Далеко-далеко за черными льдами в одной темной-темной крепости есть самый верхний уровень. На самом верхнем уровне есть длинный-длинный коридор. В конце коридора большой-большой люк, а за люком маленький-маленький кубрик. В кубрике холодильник, а в холодильнике человек, которого забыли…

Вспомнилась Олекме детская страшилка. В детстве совсем много страшного ребёнкам рассказывают. В назидание это, чтобы к порядку приучить. Ничто так к порядку не приучает, как страх. Отчего же теперь не страшно, когда даже сам себя забыл уж почти?

Как просто все было, ага? Родился себе, мамка в кубрик принесла, выходила-выкормила, Отцам-докторам показала. В общую казарму ходить можно, ежели ноги держат. А то затопчут ненароком. Бывало и такое, чего там…. Глядишь и в школу пора. В школе тоже хорошо, людей да науки знать будешь. Что, закончил? Не отчислили? Ну, теперь уже и решения принимай, куда надумал? В летную учебку? Изволь! Где твоя испытательная карта? Годится ли генетический прогноз?

И всему-то времечко свое, и всему содействие. Успевай только тестирования проходить. А там уж и живи, пользу неси обществу, общей Судьбе содействуй. Жаль только Мамка померла, так и не успел выведать у нее: что там дальше, во взрослой жизни, какие тесты с экзаменами?

Разленился что-то нынче, потерявши страх-то. Лежит Олекма под деревом, за думами своими о судьбе утраченной, и подниматься не торопится. Спина как вроде приросла к земле, позвоночник расправился. Солнце уж над лесом выкатывается, всякая насекомая тварь под лучики греться лезет. Зайцы с деревьев на водопой спускаются. Птички крылышки расправляют, потягиваются. Вот взглянет одна на новый день, пискнет, встрепенется и упорхнет. И ринется в небо, и полетит высоко над лесом по своим делам неведомым. А какие такие у нее дела? А у Олекмы вот есть.

Ведь и раньше такое бывало, что сон увидишь, и веришь ему шибче, чем старой книге. Книга-то, она еще до Войны писана. Того уж нет, кто писал и про что писалось. Стало быть – неправда уже это все. А сон – он же только вот случился, и все в нем куда ярче казарменных стен, телевизора даже. Неохота в реальности его усомниться, особенно если он хорош.

Нынешний сон всякие сомнения Олекмины разогнал. Когда падал он на планету, мог и ошибиться, или рябь какая в глазах от перегрузок выйти могла. А теперь-то уж точно знает: на севере, на краю континента в ночной тьме свет виднеется. Целая россыпь огоньков, крохотных с высоты, еле как различимых, но есть.

Город, по-другому быть не может. А в городе уж всяко разумнее муравьев кто-то живет. Пусть город этот и примитивный, поверхностный, незащищенный… А раньше и люди наверху жили, и ничего. Только померло много.

Замечтался: вот дойдет, и кого-то там увидит? Как они там живут? Уж поди не лучше нашего. Земляне-то: с каждым новым поколением к совершенству близятся! К величию! Того и гляди в дальний космос шагнем! Ну, ведутся работы над этим, по крайней мере… А тут? Чего ж местные там поделывают, что даже ни одного коридора через лес не прорубили? И по небу не летают? Совсем что ли примитивные? Вот так выйдешь из лесу-то, здравствуйте вам, а они богу молятся и колдуют чего-то… Нет, не хотелось бы так. С другой стороны, может уважать поболе станут, если их учить чему путевому? И то вперед.

Погодь! Так может они, как нормальные, под землей живут, а наверх только за яблоками выходят? При таком раскладе с наукой все в порядке должно быть. Подземный город строить – это вам не идолам молиться! А может, если уж совсем повезет, – и домой возвернут, найдут

способ? Зажмурился даже, чтобы не вспугнуть самую желанную мечту. Знать бы только в какой стороне дом-то… Да разберемся поди.

Вот незадача!.. А ежели они вредные, как выселенцы на Луне, или вреднее еще? Выселенцы, – те дураки-дураками, а тоже неприятностей от них сколько? Все пакостят чего-нибудь по мелочи, а то и крупно. А если посильнее их кто на Землю путь прознает? Беда тогда! Да отобьемся, чего там. Однако приглядеться все равно надобно!

Чего приглядываться, если из-под дерева города не видать? Пора таки подыматься. А то, ишь чего, размечтался!..

Хорошо как лежать-то оказывается! Все когда хорошо, не болит нигде, не чешется, не потеешь… И в расторопности когда особой нужды нет, по большому-то счету… Будто в жизни своей так ни разу и не лёживал. А может и вправду – не бывало? Дома же по звонку все, не поваляешься особо, никто ждать не станет.

Хотел упругим рывком подняться, да мешало что-то. Забавно: за ночь мох все тело опутал. Рвется с тихим хрустом, осыпается на землю невесомым прахом. Что ж, теперь мох меня съесть задумал? Смех, да и только.

Огляделся. То же все в лесу, только будто реже он стал. Далеко между деревьев видать, как если расступаются, уворачиваются они от человеческого взгляда. Вон там за кустами речка, зайцы и прочее зверье плещется, дальше еще на север – живой камень *комху*, а направо если – муравьиная братия гнездо задумали. А под ногами здесь родственник ихний, которого Олекма убил. Этого уж доели почти, пустой панцирь из-под мха виднеется еле.

Ну, ладно. Пойти, что ли, зайцев разогнать, рожу умыть? Надо иногда тоже. Повыхаркал густую ночную слюну, сунул в рот листок подходящий, пожевать, чтобы посвежее да пободрее стало, пошел… Земля под ногами пружинит мягко, в колени упругостью отдается, будто сама несет. В груди хорошо, привык неужто? Вечером едва не помер, а с утра – как новенький! Акклиматизация, стало быть – не хухры-мухры!

Вода в реке до самого дна сквозит, если вглубь заглядывать. Тоже там живет кто-то, рыбы и раки. И никаких крокодилов не видать. А ежели глазом-то по-другому глядеть, как в зеркало, то и себя узришь. Рожу мокрую, лохматую, довольную. Эдакая сама съест, кого хочешь.

Надумал еще целиком в воду-то влезти. Чтоб аж до ознобу, до стука зубовного. И ботинки драные на сухом оставил. Как знал, что ногам приятно в вязком топком дне. И руками еще поводить из стороны в сторону хорошо, один только нос над водой высунувши. У людей даже слово было для этой забавы, забылось только за ненадобностью.

1.5.

Дикарь стоял возле камня *комху* спиной к Олекме. То, что он именно дикарь, сомнений никаких не имелось. Станет разве цивилизованный человек голым в лесу стоять и с камнем разговаривать? На голове космы всклокоченные, на спине шрамы узорчатые… Словно вырезали амазонского пигмея из старой кинохроники и поставили вот здесь на полянке. Топчется в шаге от черной каменюки, бурчит чего-то. Молится наверняка.

Словно бестелесный призрак Олекма подкрался к нему, ни единым звуком себя не выдав. Нет, не собирался тактически верно нападать со спины. Он вовсе соперника в нем не видел. Куда там: человек на голову выше, на четверть тяжелее. Да и голое тело аборигена атлетизмом не блещет. И живот еще этот раздутый! Видать и вправду не лишку хищников в лесу, ежели эдакий увалень живым до взрослых годов дожил. Так что не усомнился человек в превосходстве своем ничуть, только бегать за дикарем по лесу не хотелось. Вот затем и подкрадывался к нему Олекма, чтобы сграбастать в охапку, если метнется абориген от него перепуганным зверьком.

Дикарь развернулся неспешно. И сразу уставился на Олекму снизу вверх, чуть запрокинув голову набок. Не-ет, во взгляде этих глубоких, ослепительно синих глаз не оказалось

и намека на страх или удивление. Он протяжно втянул воздух широкими ноздрями. Так смотрят и нюхают надоевшую плесень в углу сырого кубрика, с которой устал бороться. Прикусил слегка нижнюю губу, поерзал челюстью под неровно выщипанной кустистой бородой и, наконец, выплюнул человеку в лицо:

– *Дегенерат!*

Рука дикаря рванулась без замаха, ткнулась Олекме под дых. Коленки подкосились, сложились, и человек рухнул на землю, ткнувшись лицом в грязные мозолистые ступни дикаря.

***

Новостей-то было две. Одна хорошая, вторая не шибко.

Олекма был парализован. Шевелить мог только лицом. Будто повыдергал кто все нервы из тела, да и снес на переработку. Осталось тело кулем, податливым и теплым. А вообще – сидел все на той же поляне, прислоненный к камню. Жив, да и ладно. А если б хотели – так и не очухался бы.

Хорошая новость: то, что материно изобретение, коммуникатор, опытный образец которого прилеплен к затылку, – работал!

Дикари разговаривали мало, лишь изредка перебрасывались короткими фразами. Штук шесть перед собой видать, еще пару, если глазом на сторону скосить. И со спины бубнеж доносится, а значит расселись кружком по всей поляне. На Олекму внимания почти совсем не обращали, вяло жевали какие-то листья. Коммуникатор сразу все слова перевести не может, время просит наверняка, чтобы лексикону нахвататься. Но помалу начали некоторые простые слова в мозг проникать: «утром, слушать, слабый, еда».

А кто еда-то? Листья разве? Как-то не наблюдается удовольствия на рожах… Неужто размышляют, как ловчее Олекму есть, справедливее делить? Вот уж попал, так попал!.. До города добежать хотел! Мечтал, что домой отправят… Вот и сиди теперь тут с дикарями, жди, когда они тебя дубиной пришибут.

Попытался усилием воли шевельнуть хотя бы пальцем, вспотел даже от натуги, – не выходит. Опять отравили чем-то. Пыхтел пару минут, покуда взгляд пристальный на себе не почувствовал.

Седой старик, сидевший прямо напротив, листья дожевал уже. Уставился на пленника с выражением глубокой озабоченности на лице. Челюсть почесал под косматой бородой, слегка приоткрыв пасть и заговорил.

– Я – Вечный Маухи. Маухи сильный. Много раз на войну ходил.

Выдохся, сразу так много слов наговорив, вздохнул тяжко. Потом уставился на свою левую руку, стал разглядывать ее, будто давно не видал. На мизинце двух фаланг не хватает. Маухи прижал к ладони большой палец, остатки Олекме показал и добавил:

– Три раза на войну ходил Вечный Маухи. Ты будешь говорить с нами?

Ну а о чем поговорить-то? О погоде разве?.. Что такое есть эта «погода» Олекма не знал. Присказка такая просто, ежели без толку болтать.

– А я – Олекма. На войне не бывал. А к вам нелегкая занесла…

Сидят, молчат. Над головой твари какие-то летают, хоть и не птицы. Крылья у них из кожи между длиннющими пальцами, и рыла больно страшные. От камня спине холодно.

– Дождь будет? – это у Маухи пацаненок безусый спрашивает, что рядом сидит. Старик отвечать не стал, только кряхтя ноги вытянул, протянув в сторону Олекмы босые ступни.

– Митху тоже не был, – кивнул на пацаненка старик, – Может потом сходите вместе.

Пацан фыркнул презрительно и пальцем тыкнул:

– Олекма слабый, Митху сильный! – кричит гордо, с вызовом в глаза глядя.

– Чего это я слабый? Я давеча муравья голыми руками угомонил! – вырвалось невпопад. Пацан аж покатился со смеху:

– Муравья не получается убивать! Олекма неумный обманщик сам! – крикнул опять пацан, за что тут же от старика подзатыльник схлопотал. Приуныл, осознал…

Остальных мужиков заявление о победе над муравьем не рассмешило. Задумались мужики над чем-то крепко, хоть и вид на себя напустили мечтательный. Снова надолго тишина над поляной повисла.

– Муравей *Сё* – могучий зверь. Первый сын *Ёти*. Муравей *Сё* сам знает, когда убивать, и когда умирать.

– Не верите – и не надо! Не очень то и хотелось! – обиделся человек на дикарей. Ну а что еще оставалось делать?

– Ты, Олекма – *дегенерат*.

Это их «*дегенерат*» коммуникатор не смог перевести, но и так понятно, что ничего почетного в слове нет. Маухи тем временем продолжает себе под нос гундосить:

– Пластиком и всякой гадостью воняешь, мозги с железом перемешались, Леса не знаешь, ссышь где попало, как щенок. Зачем по земле ходишь? Не понятно…

Вот же старый засранец, судить еще вздумал. За плохое поведение.

– Так я же говорю: сам не знаю, как к вам в лес попал. С неба свалился, не по своей воле.

– Угу… – Маухи разглядывал напившегося комара на своем плече. Легонько дунул, сгоняя кровососа с кожи, проводил взглядом. Комара тут же проглотила крылатая тварь с жуткой рожей и по лицу старика скользнула улыбка. – С горожанами всегда так: вечно они не знают, что и почему с ними случается. Ни в чем своей вины видеть не хотят. Наугад свою тропу топчут.

Эх, тоска-печаль… Вот и обвинение уж прозвучало: виновен в том, что в неположенном месте с неба свалился. Еще смотрят так жалостливо всей шайкой своей подлой…

– Понятно все с вами… Ладно бы хоть я напал на того вашего, к которому подкрался…

Тут уж все дикари на поляне со смеху повалились. Так бьются в припадке, что слезы из глаз. Откуда-то из-за спины вышел тот самый, вырубивший Олекму с одного удара. Нагнулся над ним, все еще прыская смехом, снял с Олекминой груди жирную блоху, пересадил ее себе на голову и сказал:

– Иди куда шел, *дегенерат!* Глупый щенок.

1.6.

С пацанами, подросли когда маленько, стали силой да сноровкой мерится. Только не интересно было меж собой-то, да и глупо. Так, намнешь бывало бока соседу через три кубрика по левую руку, и неделю потом глазенки воротишь друг от дружки. А куда денешься-то? Казарма хоть и велика, а в общем коридоре не разминешься шибко, или в досуговой если телевизор посмотреть рядом не садишься… Придумали казармой на казарму сходиться. А повод всегда можно сообразить, но не так чтобы серьезный. Вот из-за девок хотя бы. Бывало, возле столовки замешкаешься как бы между делом, окликнешь пацана с верхнего яруса:

– Слышь-ка, долговязый, а ты пошто на наших девок заглядываешься?

А тот расфуфырится тоже:

– Да кому нужны ваши, у нас свои есть!

– Так ты может скажешь, что ваши не такие бледные?

– А скажу! Наши куда здоровее!

– Ну, тогда извольте с товарищами после отбоя под купол явиться, пообщаемся.

– Отчего ж, придем непременно!

А после ужина во все рванье спешишь одеваться, чтобы доброе в драке не попортить. Или голышом надумаешь, если не мерзлявый. Под куполом-то совсем холодно, там аж иней на свинцовых листах блестит. Можно и нацарапать инея, жажду перебить, если обгадиться не срамно. Но это после. Туда еще подняться надобно. Соберутся бойцы у пожарной лестницы, пересчитаются, да и рванут вверх по ржавым ступеням громыхать.

А соперники уж дожидаются:

– Ну что, нижние, бухтите? Неужто канализация вас топит!? Гы-гы-гы!

Наши тоже за словом в карман не лезут:

– Это девки ваши пустые столько ссут? Только воду переводят! Ни работать, ни рожать не годны?!

Порычим, потолкаемся, и ну бока мять друг-дружке. В голову старались не лупить, а то Отцы накажут.

А на завтрак потом идем, заглядываем на верхних: сильно хромают-то? Окривел кто, или может ребра на вздохе бережет? То-то же. А вот неча! И самому уж сподручнее ложку разбитой рукой держать.

Ну, это если наши победили, ясно. А не всегда… Другой раз и нас отлупят. Тогда уж мы побитые за дальние столы полезем трапезничать. Другим крепостным эдак ясно, который ярус нынче сильнее. Чаще перед общекрепостными мероприятиями драки-то затеваются. Чтобы ясность была, кому на лучших местах сидеть.

Есть в этом правильное что-то, справедливое. Тесты с генетикой тоже чего-то значат, да уж больно заумные они, сверх всякой меры. Вот только никакой тест не решит кто из крепостных парней в драке, в соперничестве справедливом, духом сильнее окажется. Сильные-то, они и сами как кулак сожмутся крепко. А слабакам наука выйдет, чтоб не лезли. Надо же кому-то и канализацию чистить, по большому-то счету. Ни всем же Родину защищать.

Сейчас особого желания подраться Олекма не находил. Оправдывался для себя, что не за что особо, да и противников слишком. Может потом случай подвернется, чтобы расквитаться с обидчиком. Надо же, мелкий какой-то засранец, а вырубил единственным ударом. Да и блохой власти над телом лишил еще потом. Нельзя так оставить… Никогда нельзя так оставлять.

Бывало уж с Олекмой, чтобы одному против десятка. Вот хоть тогда, как Мать в другую лабораторию перевели. Раньше они в маленькой крепости жили, всего каких-то тысяча мест на семи ярусах. Народу и того меньше, в половину может от силы. Грибы растили и пластик. Да и Олекма еще салагой был, не дорос до серьезных драк. А перевели в самую крупную, оборонительную. Мать с соседями переругалась мигом, а Олекме разгребай.

– Мамку твою размораживали когда, перегрели малость! Ошпаренная она! – орали пацаны. И говор в новой крепости непривычный, тоже проблема. Ржут над Олекмой, что не разумеет он. А внутри мерзко от всего. И даже ростом вроде пониже стал, осутулился. Жгучая злоба не всех копится, кипит, крутится в пружину. Вот и сорвалась пружина, как только первого подсрачника Олекме отвесили.

Шибко отпинали его тогда. И в другие разы тоже. Много раз. И всякий раз только страх вечного унижения силы давал отбиваться. Боялся Олекма слабаком прослыть. Слабакам одна дорога – в гриборобы. И никакие тесты не помогут уж…

И сейчас сызнова позабытое липкое беспокойство сковывает. Есть его не станут, это понятно уже. Но и уважать не собираются. Терпят, думают, замышляют чего-то…

Шли узкими путанными тропами. Как будто бы и не торопились никуда, просто брели монотонно, лишь изредка напиться останавливаясь. Дикари срывали с кустов то почки, то гусениц, ели сами и Олекме в рот совали тоже. Хихикали тихонько, заглядывая в глаза. Но не так, чтобы с вызовом, а как вроде игрушку в лесу нашли, зверька забавного. И пихают теперь ему в рот чего попало, играются, покуда не надоел.

А в Олекме подымалась временами обида, подступала высоко, мешалась в горле. Так бы и отвесил пенделя кому. Где ж вы, черти, шарахались так долго? Не могли разве скорее на глаза попасться? Ведь едва только Олекма с ума не рехнулся совсем от одиночества. Да пусть хоть самым последним чуханом, хоть пленником презренным, но только не одному… Скисала обида в затылке где-то, да слезой скупой по щеке скатывалась.

Мутно в голове, вязко. Всего пару ночей назад просто все было. Жестко, но просто: надо идти, да на пути не подохнуть. А если думать еще при этом – так пользы никакой, одни только переживания пустые. Лучше так-то, когда одна только мечта в голове, и никакими сомнениями как руками грязными ее не лапаешь, бережешь.

С дикарей чего возьмешь? Они домой не отправят. Даже башмаков новых у них не допросишься, сами они босиком и без штанов. Да совсем без ничего. Как и Олекма, впрочем. Так что вроде и на равных они теперь. На время, конечно. Контакт есть, все остальное приложится. Тут уж как ни крути – человеческое превосходство все равно проявится хоть в чем-то. Надо просто разговаривать:

– Скажи, Маухи, ваша земля большая?

– А с чем можно сравнить землю? Если сравнивать с глупостью и жадностью горожан – то маленькая совсем.

Аборигены снова захихикали. Но никто не обернулся, чтобы окинуть чужака презрительным взглядом.

– Может, ты и меня считаешь глупым? Почему?

Маухи на ходу выудил из листвы жирную гусеницу, щелчком пальцев отшиб ей голову и принялся есть. Только шагов через триста ответом удостоил.

– Потому, что ты говоришь, что земля может кому-то принадлежать.

Беседа удовольствия не доставляла особого, но ведь надо было разговаривать. Хотя бы для того, чтобы коммуникатор информацию накапливал. А то как-то коряво переводит, не шибко понятно…

– То есть земля, по которой мы идем, тебе не принадлежит?

Вечный Маухи чуть сбавил шаг. Олекма уперся взглядом в его голую морщинистую спину и подумал, что на Земле таких старых людей не видел. Может они в отдельных крепостях живут, где рабочий график полегче?

Маухи твердо стоял на ногах и усталости его видно не было. Разве что спина чуть сутулилась, да шея просвечивала сухими жилами, когда он приоткрыв рот и смешно наморщив нос заглядывал в кроны деревьев. И глаза… В них уже не было той пронзительной синевы, как у его соплеменников. Глаза подернулись сырой мутью. Вечный Маухи был очень стар. Хотя опять же – смотря с чем сравнивать. Может, по земным меркам половину стандартного ресурса только перевалил. Ясно: жизнь в лесу – не сахар! Если гусеницами и травой питаться.

– Разве может блоха, живущая в шкуре ягуара и пьющая его кровь, сказать, что ягуар принадлежит ей?

«Ты смотри, как кучеряво сумничал! Интеллигент хренов».

– Ладно, по-другому спрошу. Прямо. Долго вы будете меня сопровождать?

– Не знаю… Как твоя тропа поведет.

– Понятно. Ну а где ваши женщины и дети? Дом ваш где? Или это военная тайна?

– Военная тайна? – Маухи откровенно рассмеялся, – Тайн вообще не бывает! Глупость только случается и нежелание понимать. Если не видишь того, что у тебя перед носом – это не тайна, это слепота.

Наивная простота собеседника начинала бесить. Олекма продолжил задавать вопросы, душа в себе нервный смех.

– То есть вы гуляли просто. Причем – поодиночке. А потом встретились случайно, глядь – один из вас чужого поймал. Решили не убивать, от греха подальше, но у всех внезапно возникла необходимость на север пойти. Как раз, куда мне надо. Так? Я хоть некоторых вещей и не понимаю, но обман чую за версту! Так и знай!

Тут Олекма как есть лишнего сболтнул… Аборигены остановились и обступили его на тесной тропинке очень плотно. Лица серьезные, ноги расставлены широко. И тихо вдруг стало. Слыхать только, как песок под ступнями шелестит да похрустывает. Синева в глазах

клубится, плещется, окрашивает лес кругом, завораживает. Лица уж перемешались до неузнаваемости, земля сама закачалась, расступилась. Надо бы руками взмахнуть, да хвататься за что, пока не вывалился опять из тела…

Налетел ветерок ниоткуда, плеснул прохладой по морде… Отступило наваждение. Олекма ругнулся про себя, и подумал, что надо бы внимательнее смотреть, чего в рот-то ему складывают. А то обкормят дурманом совсем, будешь тогда до погибели улыбаться. Эвон как накрыло опять, что и не разберешь, чего там проклятый старик бормочет:

– Ты глупый, злой, не желающий думать или хотя бы слушать капризный мальчишка. В точности как большинство горожан, – вещал Маухи своим нудным назидательным тоном, – Вы уверены, что солнце встает только ради вас и что колючки на кустах вам назло. Вы боитесь смерти как предательства. А сами предали свою мать *Ёmu*. Разве это дело? Эта земля не убила тебя, когда ты свалился с неба в своем жалком железном подобии птицы. Муравей *Сё* отдал тебе свою силу и излечил твое тело. Но твои глаза все равно остались невидящими. Твой слепой разум нашептывает тебе, что мы хотим поступить так же, как поступил бы ты сам. Ты не можешь постичь нашей мудрости, и поэтому считаешь нас глупее себя. Едва избежав смерти, ты уже уверен, что тебе должен весь мир. И злишься, когда не получаешь желаемое. Зависть и злоба – вот все, чем живут горожане.

И не дождавшись ни слова в ответ, как по команде весь отряд двинулся дальше. Олекма еще замешкался немного. Все-таки старик изрядно озадачил своим нелепым наездом. Половина слов от возмущения мимо ушей усвистала. А может коммуникатор еще корявит чего… Ну да ладно… Кто ж их, примитивных, разберет – чего у них там с городскими не сложилось в отношениях? Но и худа без добра нет: ясно же, дикари Олекму считают за городского, и это не плохо. Это значит, что люди на севере похожи, что не дикари. Так чего там старик про них говорил? Злоба и зависть? Ну, такие соседи как банда Маухи кого угодно из себя выведут, стоит пообщаться пять минут. А уж завидовать дикарям и подавно не об чем. Да и зависть по сути – тоже вполне себе человеческое чувство, мотиватор мощный.

А старик не так прост!.. Дипломат! Политик! Жрец и колдун! Эвон как изворачивается. Это после того, как его молодчик вырубил мирного путника одним ударом без всякого повода, парализовал блошиным ядом… Так он умудряется еще так все повернуть, что Олекма сам виноват!.. Молодец!

1.7.

Эдак ловко изворачиваться только политработники и умеют. Случалось, приходил один такой лекции читать, на выпускном курсе уж. Забавный до жути на первый взгляд, словно нарочно: форма на нем строгая, черная, до самого пола балахоном прямым висит. Погоны золотом шиты. Пилотка в потолок упирается. Вся учебная рота смешком прыснула, когда впервые эдакое чудо увидали. Никто и подумать тогда не мог, что такой увалень любую судьбу переиначить может. Похихикали минут пять, да и заклевали носами. Потому что лекцию политработник читал – будто колыбельную пел. То и дело с подвыванием тянул слова, когда особо важные места желал подчеркнуть.

А Олекме вот не спалось на тех лекциях, хотя и были это единственные занятия, где невнимательность не грозила нарядом работным, а то и коррекцией рейтинга. Хотелось зачем-то понять предостережения его, хотя нес он порой редкостную чушь. Вот хотя бы в тот раз. Про то, что если попадет кто в плен на Луну, то примутся выселенцы тогда бедолагу фанатизмом своим заражать, и против Земли настраивать. Смех, да и только.

– Разрешите вопрос, товарищ лектор?

– Что такое, етти меня в лифте? – откликнулся с тревожным интересом, и принялся искать Олекму взглядом поверх очков.

– Вот я так разумею: в современных массовых моделях боевых кораблей не предусмотрена система жизнеобеспечения при разгерметизации… Стало быть, любое полученное в бою повреждение, опосля которого корабль теряет способность к управляемому полету, гарантировано к разгерметизации приведет. Отсюда и вопрос: это чего ж такое должно случиться, чтобы пилот в плен живым угодил?

Ну, тут уж политработник откашлялся основательно и принялся тетрадку свою листать.

– Назовись, курсантик, будь любезен…

Время тянет, чтобы ответ обдумать. Что ж, извольте:

– Личный номер 331-12-97, поколение БС-24/8, крепость «Омск-5», казарма 18 – 3. Имя: Олекма.

Лектор нашел в своих записях что искал, нахмурил брови, вздохнул поглубже и затянул:

– Поколение БС-24/8… Надо же, как время-то летит… А разумеешь ли ты, щегол бескрылый, в каком месяце мамашка тебя родила?

По спине у Олекмы пробежал холодный сквозняк. Мало кто из крепостных с малолетства знал, если какая-то особенная генетическая модификация закладывалась в месяц его зачатия. Работяг же все больше заказывают… Догадываться только могли по учебным спецкурсам, к которым допуск открывался.

Лектор между тем поднялся со стула и принялся бродить по своему помосту туда и назад, зыркая при разворотах на слушателей:

– Мне, знаете ли, по долгу службы приходится за генетиками приглядывать… Хотя, будь моя воля – давно разогнал бы всех к крысиной матери. Выбрали бы пару-тройку самых удачных модификаций, да и штамповали крепостных по утвержденному образцу. Так нет же: года не проходит, чтобы месячный приплод под эксперименты свои не выклянчили! Помните ли такое поколение – СЦ-1/3? Это годов на пять раньше вас примерно… Не растреплю секрета теперь уже: планировалось что смогут они на поверхности в легкой защите работать. Пятками в грудь себя докторишки лупили, обещали! А они взяли, да и передохли все до единого на тринадцатом году. Гормоны, еще какая-то срань… Не получилось! Что-то пошло не так!

Политработник умолк на минуту, застыв с разведенными в стороны руками и принялся поочередно оглядывать своих слушателей, желая убедиться что ни один из них уже не дремлет.

– Ладно хоть баб пустых в том месяце меньше обычного в очередь на осеменение созрело. А ведь эти спиногрызы все тринадцать лет жрали чего-то каждый день! Место в казармах занимали! Вполне логичным становится вопрос: а не было ли здесь вредительства? Уж не выразил ли кто-то из ученых умников стой протест этой хитрой, масштабной диверсией?

Олекма опасался, что сейчас лектор скатится в обычное для ораторов разглагольствование об историческом моменте и героическом труде сплоченного трудностями народа… Заболтается и не объявит товарищам курсантам кто он, Олекма, по рождению…

– Подзабыли разве, кем последняя Война была развязана? Несогласными! Не разделяющими общечеловеческих ценностей уродами! Нас вынудили обрушить превентивный удар! Последнему тупице тогда ясно было, что задумали против нас! А задумали они своим разлагающим влиянием подточить нашу волю и разум изнутри! В той войне мы защищали себя и свой вековой образ жизни!

Мы сокрушили их своим праведным гневом! Но слепая ярость наших врагов не позволила им просто сложить оружие и сдаться. Они сопротивлялись тупо и бессмысленно, оставив после себя радиоактивную пустыню.

Наша победа далась нам непомерно тяжелой ценой! Но, несмотря на то, что по вине наших врагов некогда цветущая Земля почти погибла, мы остались человечны! Мы сохранили им их жалкие жизни! Мы отправили их на Луну, где они могли бы прозябать, упиваясь своими бредовыми идеями, сколько бы им хотелось.

Политработник опустился на тоскливо скрипнувший в тишине стул и тяжко вздохнул, разгорячившись в чтении пылкой, но очевидно заученной речи.

– Так о чем я? – Он в очередной раз окинул взором разбуженных слушателей, наткнулся на Олекму и продолжил, неотрывно глядя ему в глаза:

– Ты все правильно понял… Как тебя там? Олекма? Корабли наши гибнут вместе с экипажем. Слишком много возни, да и дорого это – систему спасения в корабли вставлять. С другой стороны: на кой ляд нам нужен такой пилот, который корабль потерял? Корабль ведь не вернешь?..

– Да это понятно все! Такому летуну, вернись он в казарму, все равно не жить! Начали-то мы с другого: как к лунным выселенцам живым в плен попасть?

Рожа у политработника побагровела и раздулась, глаза полезли наружу. Он вскочил на ноги, пару раз в холостую открыл рот, прежде чем заорать:

– Ты, придурок, слова потщательнее подбирай для вопросов своих! А то ведь по-всякому растолковать можно… А мамка твоя померла! Некому теперь хлопотать за тебя будет! – Еще минуту он отдувался, вперившись взглядом в ошарашенного Олекму, потом вернулся к столу и сел, крякнув и хрустнув коленками:

– Да ладно, не ссы. Нужен ты мне больно… Вы же, товарищи курсанты, все для меня одинаковые до полного безразличия. Все вы мне Сыны. И коли уж зашла об этом речь, так я вам расскажу об некоторых совсем простых вещах. Космические штурмовики, на которых вы будете охранять покой своих матерей и Отцов конечно тоже, предполагают единственный способ посадки: на базе приписки, жопой в персональное гнездо. Ну или как оно там у вас правильно зовется… Все! Других вариантов нет, и не будет. А если появится в корабле спасательная капсула, так раньше или позже она будет использована в попытке несанкционированной посадки на Луну!

По классу пронесся удивленный гул.

– А что вы так удивляетесь старательно? Что, никому такая мысль в голову не приходила? Может быть, может быть… большинству. Но если бы в какой то головушке и возник подобный план, так была бы это голова, рожденная в поколении БС-24/8! Ибо обещано учеными, что генетическая модификация того месяца подразумевает повышенные умственные способности.

***

Что-то теперь думает про Олекму гимназистка Оля? Что политработник наплел бывшим сокурсникам? Без сигнала бедствия пропал с радаров… Тут от недостатка информации что угодно напридумывать можно.

Ладно хоть Мать не дожила… Олекма устало плетется по узкой тропинке, ведущей неизвестно куда. И кусает губу, и зубами скрежещет, бубня себе под нос:

– Маухи – Маухи, старый ты пожиратель червяков. Я не предавал свою Землю. Нет, не предавал…

Старик, шедший в тридцати шагах впереди, остановился, засмотревшись на корни у себя под ногами. Когда Олекма поравнялся с ним, Маухи спросил его:

– В том месте, откуда ты прибыл… Что ты оставил там, к чему хотел бы вернуться?

– Ну как же!.. – начал было Олекма, но осекся на полуслове. Перед ним стоял дикарь, древний и дряблый, вяло отмахивающийся от мух. Стоит ли насиловать свою память, мучительно подбирая слова, которых старик все равно не поймет?..

У Олекмы был свой кубрик. Ну как – свой? Матери его выделили как выдающейся ученой. В кубрике свет с отдельным выключателем, и две запасные лампочки под кроватью. Там же старые ботинки, ржавые плоскогубцы и обломанный перочинный нож. Эти сокровища он в заброшенных мастерских нашел, куда по малолетству бегал без спросу. На кровати матрац волосяной и подушка без дырок. Стена возле кровати крашенная и теплая, не мокнет. Вот, это все его, Олекмино.

Дальше – материн стол. На нем пластиковых тетрадок стопка и книги. Огрызки карандашей в коробочке и моток худых ниток на закладки. Ну и прочее всякое – бабское. Рядом стул и материна кровать. Да, две кровати в одном кубрике! А как вы хотели? Маме еще и паек усиленный полагался, с повышенным содержанием сахара.

Кубрик, стало быть, – на двоих. А за дверью всё уже общественное, на которое у каждого равные права и хотелки: уборные, бытовки, досуговая, склад инвентарный. Надо чего – пошел и взял. Занято – дожидайся очереди или отбери, коли сумеешь. Потому что все кругом знают, что Олекма силен. И лежит где-то в надежном месте бумага, в которой все-все про Олекму записано убористым почерком: сколько раз от полу отжаться способен, как быстро бегает и сколько его в центрифуге крутить можно, пока не отрубится. И стоит под этим всем заверенный печатью высокий балл, позволяющий Олекме стать пилотом. А уж лучшего пути придумать никак нельзя.

Вот и выходит, что было у Олекмы все, о чем только можно и должно человеку мечтать: и быт на зависть, и почет с уважением, и перспективы самые увлекательные. И все-то он потерял разом…

– Не понять тебе этого, дикий старик. Есть у нас такое понятие – *Родина*!

1.8.

Жизнь Маухи была долгой. Даже с тех пор, как его соплеменники подметили, что вождь явно задерживается на белом свете, прошло уже очень много времени. *Ёти* как будто забыла о нем, или же готовила дело, срок которого никак не наступал. Он устал ждать своей очереди, бесконечно прислушиваясь к песням Великой Матери. Её голос ласкал и утешал старика, но ничего не требовал, не поучал и не звал. Сложно ощущать себя любимым сыном, будучи самым старым на белом свете. Седой увядающий старик, как трухлявое бесплодное дерево, сухое и изгрызенное внутри, он готов был упасть, чтобы освободить место. Потухшими глазами шарил вокруг в поисках оправдания собственного существования, но видел лишь известные наперед дни и людей. Годы шли, один за другим наслаиваясь на клубок событий, Маухи путался в воспоминаниях о былой любви, крови, рождениях и смертях, и удивлялся – насколько прошлое сложнее и многообразнее грядущего. Лишь изредка выныривая из пыльного мешка собственной памяти, озирался вокруг, беззлобно ворчал на ближних, окликал дальних и терпеливо дожидался того дела, для которого он все еще есть.

Он говорил с мертвыми и пытался выведать у предков свое предназначение. Ушедшие смотрели на него из каменных глыб, сочувствовали и может быть даже скучали… Предполагали, что мать *Ёти* сейчас просто занята: слишком много хлопот вокруг Города. А еще она спешно доделывает болото.

Маухи уже бывал на том месте. Два или три лета назад. Недалеко, дней пять ходьбы. Тогда новый карстовый провал в лесу уже наполнился водой и бурно зарастал однолетними водорослями. Старый вождь обошел будущее болото за пару дней, поразмышлял, зачем оно здесь нужно? Как запас перед засухой? Могильник на случай мора? А не все ли равно… Он решил больше не спрашивать не о чем. В свое время все прояснится. Улыбался, задаваясь вопросом: не похож ли он сейчас на юнца, умудрившегося обидеться на целую планету?

Когда до Вечного Маухи дошел слух что в болото с неба упал корабль, он далеко не сразу увидел в этом начало конца. В прежние времена подобное случалось часто, пока горожане не угомонились. Старик лишь ухмыльнулся, предположив что Мать попросит железяку из болота достать. Для чего-то ведь оно нужно ей, это болото…

Но было что-то еще, какая-то упущенная новость. Маухи прислушался: соплеменники занимались своими делами, предки привычно бубнили о давно минувшем, лес притих, готовясь к осени. Может быть, это звери или птицы обсуждают свои проблемы? Старик решил подойти ближе к *комху* и попытаться через камень заглянуть в звериные души. Сначала обратился к *Сё*, которых с возрастом стал уважать более других высокоорганизованных обитателей леса. Муравьиная матка, будучи на сносях, не о чем не знала и знать не хотела. Он перебрал нескольких солдат, находящихся дальше других от муравейника, но тоже ничего не нашел. У него только разболелась голова в попытках разглядеть хоть что-нибудь через фасеточные глаза. Тогда Вождь напросился полетать с орлом и они кружили над бескрайним зеленым морем до самого заката, заболтавшись обо всякой чепухе. Вернувшись в себя, перекусив и уже готовясь ко сну, Маухи вспомнил о долгоухах.

Он не любил их. Возможно потому, что эти мелкие шустрые лесные бездельники были слишком похожи на людей. Они болтают не умолкая и настолько глубоко увлекаются своими проделками, что достучаться до них почти невозможно. Вот и сейчас долгоухи ухахатывались, живо обсуждая новое слово в своем постоянно меняющемся наречии: «*Зайт-цы*». Слово и вправду звучало на редкость глупо, особенно если попробовать произнести его вслух. Маухи уже решил было плюнуть и лечь спать, когда в голову ему пришло что долгоухам вовсе не обязательно было собираться в одном месте, чтобы поржать над фонетической оказией.

Стоит ли говорить, что любовью к долглухам Маухи так и не проникся. Ведь *зайцам* даже в голову не пришло хоть кому то сообщить о том, что пилот рухнувшего в болото корабля выжил.

***

Когда они сидели на поляне, Маухи смотрел на обездвиженного Олекму и удивлялся: как целая бездна душевного уродства может скрываться в столь тщедушном теле? Он напомнил ему щенка… Маленькую безобразную собачонку, жалкое подобие своих предков – волков. Кто-то, исходя из своих прихотей, возомнил себя умнее природы и селекцией закрепил, многократно увеличил пороки и слабости. Зачем? Для чего эта щенячья преданность и готовность беспрекословно исполнять команды? Старик осторожно заглядывал в память пришельца и содрогался от ужаса. Он видел целый мир искусственно выведенных злобных монстров. И они действительно убили свою планету. В это было трудно, почти невозможно поверить…

Молодые соплеменники, неспособные видеть настолько глубоко, но так же чувствовавшие к чужаку необъяснимую неприязнь, отгораживались от нависшей угрозы смехом. Тупой в своей глупой уверенности, пришелец считал отчего-то, что его умение управлять небесной лодкой делает его лучше, сильнее, мудрее Маухи. Чужое, уродливое мышление. Представитель выродившегося, никчемного народа. Как раки, запертые в обмелевшем русле, они сожрали

все и всех. Давятся и грызут теперь друг друга вперемешку с собственными испражнениями. И ждут дня, когда солнце прикончит их.

И все же Мать Ёти упорно не давала чужаку издохнуть. Она вела его совершенно точно, хотя тот и норовил постоянно усложнить свой путь. Даже Лес расступался перед ним, желая поскорее изрыгнуть из себя жалкое подобие человека. Вечный Маухи всем своим естеством ощущал нависшую опасность. Да, впервые в жизни ему было по-настоящему страшно, и он готов был бежать, нести пришельца на своих ослабевших руках, лишь бы поскорее выпроводить его из Леса. Ведь именно пришелец был источником заразы, способной отравить души как живых, так и мертвых.

Скала *Рикай* была уже совсем рядом. Глубоко под ногами она поднималась с каждым шагом, щекотала пятки, так что волосы на ногах вставали дыбом. Голоса предков из одиноких теней становились сумбурным хором. Те, кто ушел недавно, приветствовали путников. Древние же, уже почти слившиеся с *Emu*, наблюдали с любопытством, спорили меж собой – чьи это отпрыски идут к ним на встречу. Называли себя, насколько помнили и узнавали. Каждый из когда либо живших рядом с другим таким же, как чешуйки в броне дракона.

Дракон времени, – легенда, которую нет нужды пересказывать. Всегда одним боком к живущим ныне, отблеск на чешуе, луч, радугой преломляющийся в мимолетной реальности настоящего. Лишь живущим в нем дана сила и возможность.

Все мирское чуждо мертвым. Каждое дело, каждый шаг и каждая капля крови ложатся в раз и навсегда определенное место. Их сла́ва не имеет для них значения. Они сделали то, что должны были и не могут добавить к свершившемуся ни слова, ни смысла. Живущие сами найдут мудрость в былом, если смогут. Ушедшие же будут смотреть на них и станут просить *Ёти* не оставить жизнь потомков пустой.

Души умерших пронизывали тела живых, истосковавшись по своим, подгоняли и притягивали к себе. Мудрые хозяева и благодарные дети леса, всей земли, девять отцов и сыновей, и с ними десятый, чужой. Предки пытались понять его, но наблюдали только призрачную тень, подобие живого. Или же жизнь настолько не похожую, что не было в ней ничего, кроме жалости. Как любопытные дети, нашедшие выброшенную волной на песок медузу, разглядывают, тычут палочками, тщетно силясь понять чуждую им природу пришельца из другого мира, и выдумывают план, чтобы вытеснить, столкнуть, вернуть несчастного к жизни в родной, подходящий для него мир.

Гул, гомон, вибрация… Удивление, недовольство, брезгливость. И вот уже призрачное полчище понеслось мимо, к другим телам и новостям. Незримое движение, танец, марш, круговорот. Каждый шаг к центру вовлекает, затягивает как в сердце урагана. Туда, где вся его мощь внезапно замирает кристальной торжественностью. Где переплетаются все пути, начала и окончания, вопросы и ответы.

Сжимаются зубы, пальцы и сердца. Самый главный и простой вопрос вертится на языке и слезами катится из глаз. Место, где так же невыносимо тепло и уютно как в материнском лоне, где каждый обрывок воспоминания навечно впечатывается в родовую память. Что я для вас? Кто я без вас? Вспышка, эпизод в бесконечном ряду перерождений? Воин на страже, хранитель и продолжатель рода, исполнитель предначертанного, вершитель высшей воли? Ласковый и внимательный сын, вернувшийся к основе? Довольна ли Ты? Правильно ли растолкован твой голос? Пропустишь ли ты меня к предкам, где разум мой растворится в твоем, и обретет покой?

Бренность телесная перед громадой черной скалы. Рука, что тянется к матери, моля об утешении. Старик, наедине с вечностью…

Упругая податливость камня, вздох облегчения и надежды. Близость, сменяющаяся единством…

1.9.

И кончилось все как-то внезапно… В тот самый момент, когда безумный старик, полезший обниматься с памятником, выудил откуда-то каменный ножик. Поглазел на него, утер слезы с соплями и побрел обратно в лес. Олекма к скале подошел следом, щупал долго, глазенками хлопал, а только ни единой трещинки в камне так и не высмотрел. Вот как нарочно они это… Обернулся к лесу, а там уж из под каждого куста бабы с дитями лезут. А откуда взялись? Неведомо. И вот во всем так…

Это на них безумство находит, от того, что листья свои жуют беспрестанно. У наших-то, у крепостных, тоже есть охотники до этого дела. Те только плесень рыжую по тайным углам разводят, да жрут. И тут уж считай на сутки, али подольше еще, рассудку как не бывало. Ходят по коридорам криво, на стены натыкаются, бьются, валяются по полу. Мычат еще, и разговаривают будто с кем, кого нету. И боятся всего. Соседям забава – тоже не падают едва от хохоту.

Олекма не едал плесени. От нее моча рыжеет на неделю, и если отцы прознают – не видать полетов тогда до смертушки. Да и вообще никакой приличной работы. А дикарям никто не указ, да и работать не надо. Вот и одурманиваются от нечего делать. Оттого и подозрительность у них повышенная. Вот, считай с полудня накрыло-то их. Глазенки остекленели, ручонками кругом поводили, будто щупали чего, или отмахивались. Бубнили все про себя, улыбались глупо, как если в штаны на людях напрудив. И с каждым шагом дурь-то крепчала. И у Олекмы в голове тоже бардак сызнова проступал: шум эдакий, как в коридоре, который к стадиону ведет. И орет толпа-то, и беснуется… Наши победили? А встряхнешь головушкой, так отступает, и снова тишина. А вышли из лесу – отпустило совсем. Дикари так и шарахаются тупо, а Олекма вот ничего. Покрепче видать.

А бабы и тут дуры. Хоть бы одна удивилась чуть, Олекму-то увидав. Даже обидно чуток… Каждый день что ли к ним в гости цивилизованные люди заходят? Ан нет, совершенно взглядом не цепляются, топчутся по своим делам, на детишек покрикивают. Тащат из лесу обломки сухие в кучу, шалашики городят на отшибе. Баба, она видать везде баба, и дело ее бабское: бытовать да бедовать. Мужики-то вон к памятнику пошли.

Ну как тоже – памятник? Те же самые *комху*, камни живые. Только здоровенные, ростов в пять. И расставлены кружком. А на которые еще и сверху плиты засунуты. Это уж явно не дикарей работа, куда им. А только видят тоже, что построить эдакое чудо, так это тебе не в пупу царапать. Уважают, неспроста приперлись.

И сила в них общая, великая. Не чета лесным булыжникам. И хоть не знаешь даже, кто сотворил-то экую мощь, а все равно проникаешься. Есть стало быть и на этой планете разум, и безоговорочное уважение к нему всякий цивилизованный индивид испытать должен. Вот найти бы тоже отломочек-то какой, да нацарапать на видном месте: что был тут, дескать, Олекма, случайный путник, скиталец. Доберутся же люди и до этой глухомани когда, так может прочтут…

И будто увидал он тех людей-то… Только нечего им было на скале читать. Принялись они тогда в память Олекмину заглядывать, рыться да блуждать в закоулках, словно с фонариком.

Вот Мамка в кубрик принесла. Лампочка на потолке тусклая, похрустывает временами от сырости. Тетки соседские знакомиться пришли. Мать, ясно, кышкает. Тетки ворчат. А надобно ли это помнить?

Вот ползать сподобился. А недалече уползешь по кубрику. В одном углу кровать, под ней барахло и грязно. В другом стол, его из под книг еле видно. Мать ударила по жопе разок, когда Олекма одну изодрал. Следом рыдала навзрыд долго и ласкаться лезла. Прощения все у кого-то просила.

Потом совсем сына забросила, как бегать стал в коридоры. Придет поздно после ужина, глянет мельком на отпрыска и опять в книжки нырк. Разве что про успеваемость спросит.

Обидно иногда становилось: других-то пацанов хоть и лупят чаще, а и обласкают хоть на неделе раз. А может – доверяла просто, как взрослому.

Потом еще авария была. Диверсанты с Луны умудрились на пластиковой фабрике газ взорвать. Сволочи гнусные. В казарме пусто совсем стало, меньше десятка баб вернулось. Ребятенки двое суток, считай, толпились в общем месте, а потом выть стали. Пришли Отцы, ругали страшно выживших баб, что диверсантов проглядели, и увели детей… Да кто ж знает куда.

Другой раз повадился к матери мужик. Вот уж где пересудов было! Ну еще бы, часто ли взрослого мужика в казарме увидишь? Да еще выяснилось потом что он из «размороженных» тоже. Вот и частил к матери прежнюю жизнь вспоминать. Притулится на кровати одним полужопием, сидит молча долго. Эдаким крючком совсем завернется, хотя и долговяз, головушку двумя руками подопрет. А руки все в коростах рыхлых да сыпучих, жуть. Куда только медицина смотрит? Был бы ребятенком, а хоть даже и рожавшей бабой, так и зашибли бы давно за такое в темном закоулке. Нет же, уберегло уважение. Не лишку поди таких осталось, кто еще довоенную жизнь повидал. Останавливали в коридоре его, спрашивали:

– Скажи, дяденька, а ты выселенцев-то видал? А правда ли, что у них роги и хвосты есть?

А он пятится и сказать ничего не хочет. Бровки только на лоб лезут, и ручонки поганые трясутся. Бестолковый, что с него взять…

И вот сидит, сидит все в гостях-то, а потом как прорвет его. Жалуется вроде, только слова все такие, что не разобрать:

– Я же юрист, Софья Викторовна! На кой черт меня вообще в анабиоз отобрали? Ведь тогда еще ясно было, что это совершенный апокалипсис, что провалилось все к Аиду. Какой закон? Какие права? Слово «конституция» из всех справочников вычеркнуто! Честное слово, я проверял. У них же теперь главное мерило – эффективность и целесообразность. И я решительно затрудняюсь определить что страшнее… В чем цель? Ради чего работает эта жуткая пропагандистская машина? Я даже не о Луне теперь… Это еще греки придумали, что наличие воображаемого врага необходимо для существования тоталитарного режима. И про эмиграцию я давно уже не мечтаю, пройдено. Я молю вас, Софья Викторовна, не надо этой вашей снисходительной улыбки. Я о другом: в этой борьбе за выживание, за существование, как же так вышло, что мы утратили все человеческое? И это вовсе не философский вопрос. Это вовсе не грань между *Homo sapiens* и разумным животным. Это целая историческая пропасть, вершина, с которой все рухнуло. И разбилось вдребезги… Я не могу так. Я не в силах наблюдать, как под предлогом сохранения вида они играют в генетические пазлы, просто смахивая неудавшееся со стола. Меня выворачивает от пафоса их псевдопатриотических заявлений. Неужели они действительно верят, что можно выжить, готовясь к новой войне?..

И вот такой ахинеи от ужина до отбоя. Мать не спорила, не поддакивала, но слушала вроде… Сидела на скрипучем стульчике развалившись, да в коридор через приоткрытую дверь глядела. Тоже странность: только когда мужик приходил – дверь-то нараспашку держала, а так запиралась всегда. Хвасталась разве нарочно перед соседками, что мужик в гостях? Ну и кто бы ее любил еще после эдакого.

А потом помер он от чего-то. Сам вроде… Не пожилось. Да и толку от него было чуть. Ученый, тоже мне. Грибы на ферме растил…

И главный в жизни день вспомнился, ясно. Выпускной.

На стадионе было душно. Вентиляция не справлялась с запахом пота десяти тысяч зрителей, спортсменов, воинов… Олекма нервно шарахался в толпе товарищей по летной учебке, толкаясь локтями. То и дело вываливался в коридор, чтобы хоть немного вздохнуть, тут же рвался обратно к узким воротам выхода из подтрибунного помещения, когда толпа наверху взрывалась приветствием. Что там опять? Марш? Поединок? Казнь? Речь? Когда же наша очередь? А как настал момент, – так коленки-то и заподкашивались. Да не у одного его, похоже.

Как будто из тени вышел… Прямо кожей отчетливо момент прочувствовал, когда уперся в затылок Отцовский взгляд с верхней ложи. Нельзя под этим взглядом дрогнуть, оступиться. Надо до места дойти, строя не нарушив. Нужна бравая резкость в движениях точно вслед лаю команд. Скрипят выпускники парадной формой, грохочут начищенными ботинками. И замирают на своих местах, откуда сойдут уже другими…

Пахнет от отца-политработника чем-то… Торжественностью должно быть… Или же судьбой самой, если бывает у судьбы запах. Медленно, словно смакуя, идет он за спинами выпускников, сверяя номера с записями в тетрадке. Чует его Олекма. И опасливо ему, что вдруг Отец побрезгует дланью своей олекминой спины коснуться из-за того что пот сквозь казенное сукно проступил? Потому что знает Олекма, что с избранными будет, но не знает, что станет с оставшимися…

Отшатнулся от прикосновения как от удара тяжелого, вывалился из строя воспоминаний.

– *Дегенерат!* Близится твое время. Встань и иди.

1.10.

Маухи хотел все сделать правильно в последний раз. Это казалось ему даже важнее, чем в первый. Нужное место, правильное время, необходимая жертва. Каменное лезвие почти нежно коснулось шеи, устремилось с упругим нажимом, прорвало, раздвинуло, нащупало артерию, разрезало сосуд с вязким щелчком. Тело в его объятиях вздрогнуло и напряженно затихло, готовясь к агонии. Теперь плотнее обхватить ногами, сомкнуть руки на груди, растянуть, уткнуться лицом в шею за ухом. Лежать, принюхиваясь, вдыхая полные легкие вытекающей жизни.

Рывок, судорожный всхлип, упругий удар, еще… извивается, выворачивается, сбрасывает с себя, растрясает остатки живого, и затихает наконец.

Маухи раскрыл объятья и сел на колени рядом с телом, потянул его, чтобы перевернуть на спину. Обездоленная душа путалась в руках и лезла в глаза. Решил переждать немного, отдышаться. Пошел к ручью, ополоснул руки, сунул лицо в воду, чтобы смыть с бороды кровь и налипшую палую листву. Когда приподнялся, увидел свое отражение в розовой воде. Рябь скрадывала морщины и он казался чуточку моложе. Это был добрый знак.

Приподнял круп, подставил под него колени. Без спешки, аккуратно взрезал собравшуюся ниже пупа складку. Улыбнулся, пошутив сам с собой, что оставшиеся на левой руке пальцы можно уже и не беречь особо. Сунул их внутрь, преодолевая трескучее сопротивление подкожного жира, двинулся вверх. Мясо на краях шейного разреза все-таки успело набухнуть кровью. Поморщился. Распорол рукава, но обрезать насовсем не стал, чтобы позже туша не соскальзывала со шкуры. Решил немного раскрыть грудную клетку и проколоть диафрагму, – кишки так сдвинутся и проще будет возиться в паху.

Ну что, пора вскрывать брюхо. По чуть-чуть, стараясь не повредить выпирающие завитушки кишок. Ровно настолько, чтобы не раскатились раньше времени. Протолкнуть руку внутрь, без лишних нажимов нащупать мочевой пузырь и прямую кишку, обхватить уверенно, чтобы не вылилось. Вырезать по кругу, вынуть внутрь и отбросить в сторону.

Одышка навалилась. От работы устали и заныли руки. Сунул их в жар между ломтей печени, передохнул.

Туша лежала перед ним распустившимся бутоном. Душа напоследок обожгла холодом темя старика и ушла к воде. Можно разделывать на куски.

Он делил позвоночник ниже ребер, когда идущие за жертвенным мясом окликнули его: «Можно ли?» На мгновение Маухи отвлекся, каменное лезвие наткнулось на кость и из него выкрошился небольшой осколок. Совсем по детски испугавшись что кто-то заметит, постарался думать как можно тише. И через мгновение ругнул сам себя. Как глупо…

«Да, теперь уже можно».

1.11.

Деревяшки, что бабы натаскали из лесу, дикари подожгли нарочно. Олекма по привычке, выработанной частыми пожарными тренировками, подскочил было метнуться за огнетушителем, но опомнился тут же. Выматерился, стал озираться исподлобья, но никто на него пальцем не тыкал, что он огня боится. Ну и ладно, сам тогда сел глядеть.

Солнце скатывалось в ту же сторону, куда текла река. С солнцем ясно все, оно на месте висит, это планета крутится. А вот река течет почему? Уклона не видать вроде, а вот поди ж ты! Несется вода стремительной мощью, тащит с собой камни, мусор и грязь, деревья даже. Неужто самотеком экая силища рождается? А куда? Для чего? Столько энергии за зря пропадает… Быть бы дикарям умнее маленько, так приспособили бы хоть колесо какое с лопастями… Научить их что ли?

Хотя зачем им, бестолковым? Копошатся вон вокруг пламени, еще веток суют чтобы не тухло. Улыбаются, довольны всем… Маухи с мужиками мертвечину из лесу приволокли, принялись ее дербанить. То шерсти клок в огонь бросят, то кровью перемажутся… Придурки. Резали мясо в куски, складывали на каленые камни. Тут уж с Олекмой странное случилось: запах от жареного мяса такой густой да ворожный пошел, что самому захотелось! Хоть и минуту назад еще с омерзением понял, что дикари ужинать мясом станут. А как нанюхался ароматов – заранее обидно стало, если обнесут. Кровью-то он не дал себя измазать…

Не обнесли! Девка молодая большой кусок на листьях подала. Ухмыльнулась. Задницей еще повертела, отходя. Да как будто не видали мы… Хотя ничего такая. Тощая только, но здоровая, и зубы все на месте. Тьфу ты, пропасть! Вздумалось Олекме, как он теперича со стороны выглядит: грязный оборванец, мясо жрет, да еще и на девку дикую загляделся. Стыдоба! Оля гимназистка виновата, сбила Олекму с панталыку.

Но съел мясо-то. Так и нет вроде ничего плохого в том: те же белки да жиры, что и в нашей еде. Непривычно просто… Одно дело пасту из миски ложкой черпать, другое, если гусеницу с ветки в рот совать. Хотя на грибных фермах тоже червей не давят, а собирают и уносят куда-то. Может и у нас в столовых в пасту мнут, не поджаривая даже?

А вот со зверя мясо есть – тут уж другое что-то. Приволокли тушу разделанной и без шкуры уже, так что не видал Олекма, каков зверь живым был. И привиделось в кусках сходство с анатомическими картинками. Ну или казнят когда четвертованием – похожие куски получаются.

Запыхтели все нажрамшись, позадумались каждый о своем. От реки холодом веет, от огня жаром. А посередке люди сидят и на небо заглядывают. И ничего им теперь не надо. Правильно Отцы говорят: человеку должно голодным быть, не то обленится. Скажет, что и так сойдет, и стремиться перестанет… Уж Олекма не таков! Теперь вот совсем немножечко полежит, дождется, когда тяжесть в пузе рассосется, и сказку Маухину дослушает. А после решать станет – как через реку перебираться.

Великий дракон путешествует по нити времени, пересекая вечность из края в край. Меж его крыльев натянута сеть, которой он тащит все сущее.

Приближаясь к концам нити, он складывает свои крылья и подбирает сеть. Так все сущее сливается воедино, чтобы рассказать самому себе о былом, и обдумать события, произошедшие в пути.

Это есть великий суд. В миг, когда дракон разворачивается, вся Вселенная сосредоточена в одной точке. Время останавливается и перестает существовать.

Развернувшись, дракон взмахнет крыльями и вновь разметает сущее клубами пыли.

Из пыли будут облака, из облаков будут звезды. Появятся новые Матери, и будут новые люди.

И людьми станут те, кто будет помнить, что у нити времени есть оба конца.

Мать тоже рассказывала сказки. Иногда. Про зверье в основном всякое. Про зайцев тех же, лис, волков, медведей, чебурашек и крокодила, которого звали Геннадием. И люди в сказках вроде были какие-то, но помнилась Олекме только баба-Яга, которая жила в отдельном мобильном кубрике и пакостила, что твой диверсант-лунатик.

Электричество пропало как-то раз. Дней пять крепостные безвылазно сидели, потому что ни шлюзы, ни лифты фабричные не работали. Бабы сперва радовались нечаянным выходным, кинулись на хозяйство. А только много ли нахозяйничаешь, когда тусклый светлячок аварийного освещения сам теплится едва? И жрать охота опять же. Сгрудились всей казармой в досуговой. Там светлее чуть, да посвежее от центрального вентиляционного канала. Сидим. Дети канючат, бабы их лупят. Оно и понятно – самим тошно.

А Мать и говорит: давайте, мол, сказку расскажу. Вначале фыркнули на нее: заколебала, дескать, рассказами своими и поучениями… А потом заслушались, да покрепче чем радостного диктора из телевизора.

Сказка была про брошенную крепость «Теремок». Разное зверье на восстановление отправлено было. А потом нагрянул выселенец медведь… Так вроде было.

Сказки видать для того детям и рассказывают, чтобы к жизни готовить. Добро есть добро, к кому его ни прикладывай; хоть к людям, а хоть и к зверям. И зло тоже есть. На том и стоим, что различить умеем.

Так бы еще чуток полежал, да надо дела справлять, которые после еды бывают. А коли поднялся, так уж и к реке решил сходить, покуда не стемнело совсем. Памятник можно было и насквозь пройти, натоптаны тропинки узкие меж громадных колонн, но не решился отчего-то. Даже мимо идешь – мерещится все тоже непотребное: что выслеживает тебя кто, или ухватить даже норовит. Нет бы – живые дикари так разглядывали, с интересом… А то – камни. Так что мимо мы пройдем, надежнее так-то.

Споткнулся о мысль свою, замер на полушаге… Кто это – *Мы*? И где оно? Нету тепереча никакого мы. В самой далекой дали осталось, которая случается только, ибо неведомо где. И есть теперь только Я – Олекма. И ведь не страшно ничуть. И нет в душе смятения, что некому теперь Олекмой командовать, что все самому придется за себя решать. И показалось ему даже, что не такая уж беда – одиночество. Вполне можно справиться, до поры когда найдешь способ вернуться.

Над самой кручей сидела прежняя девка, что мясо подавала. В сторону что-ли отойти, река длинная. А в какую сторону тогда? А чего там в стороне? А если муравьи опять? Да что за дурь-то?

Пошел рядом сесть. А бездна-то раскрывается внизу с каждым шагом, да гул от воды крепчает. Так и не решился до краю дойти, поодаль притулился. Сидят, молчат, заглядывают каждый в свое никуда. Девка и не встрепенулась даже, сидит как статуя, а Олекма ерзает. Подумать только – тупость какая: сидеть рядом, на воду глядеть да помалкивать. Неловко так, чего не скажи – все не к месту.

– Чего они хотели от меня?

Девчонка лишь слегка повернула голову, но в глаза смотреть не стала. Сидя на краю обрыва и свесив ноги над пропастью, она подставляла лицо и все тело клубам мельчайшей водяной пыли, вздымающимся над бурлящим внизу потоком. Набухшие капли скатывались по коже и срывались обратно в бездну.

– Хотели узнать, что ты слышишь.

– Могли просто спросить. Я все слышу. Почти. У меня специальное устройство есть, которое помогает понимать. Вот здесь, на голове. Видишь?

Теперь она вообще не шелохнулась. Ну и ладно, не очень-то надо.

– Ты или очень смелая, или очень глупая.

Улыбнулась. Искренне в своей надменности.

– Как хорошо ты сказал. Это твои слова?

– Нет.

– Почему ты сказал их?

– Потому что однажды этот берег подмоет и он обрушится. Однажды – это значит в любой момент. И если это случится сейчас, то ты умрешь.

– Все умрут в свое время. Сначала надо жить. Смелость нужна для жизни. Не та смелость, что есть в тебе. Ты не знаешь своего пути. Боишься упасть, и все равно ползешь. Это очень похоже на глупость.

– А вы, стало быть, самые умные, да?

Налетел ветер и Олекма мгновенно промок. Усилием воли он сдержал дрожь и подобрал под себя ноги, обхватив колени руками.

– Нет. Мы такие, какие есть. Как и вы, впрочем. Только вы сами себя не любите.

– Тебе-то откуда знать, кого я люблю? И что это значит вообще? Кого еще любить, ежели не себя?

– Любовь – это единство, даже если любовь к себе. А вы себе не нравитесь. И постоянно пытаетесь быть, казаться не такими, какими рождены. Хотите быть лучше. Красивее, сильнее, умнее… И так самозабвенно мечтаете об этом, что начинаете верить. Верить, что вы уже самые красивые, сильные и умные. Лучшие. Вот только ваше мышление от этого становится плоским как тень.

– Ну и ну! Вы, грязные лесные дикари, не надоумившиеся даже жопу прикрывать, будете меня мышлению учить? Да и с чего вы вдруг вздумали, что знаете меня? Кучка оборванцев! Я представитель великого народа на пороге светлого будущего!..

– Это тоже не твои слова.

– Зато чистая правда! Нас знаешь сколько? Почти полтора миллиона, по данным последней переписи! Мы непобедимая технологическая сверхдержава! Хотя о чем я, тебе все равно не понять. Вы тут даже до колеса еще не додумались. На севере-то есть колеса? У горожан?

– Есть.

– Слова Отцам! Что ж вы у них не научитесь?

– Нам незачем куда-то ехать, мы на своем месте. А чему научился ты?

– Я? Я пилот-штурмовик! Я один из тысяч воинов, стерегущих в небе покой своего народа!

– От кого?

– От кого надо! От уродов разных.

– Что значит «*урод*»?

– Ну-у… Больные всякие, которые нам зла желают.

– Почему они желают вам зла?

– Как почему? Я же говорю – уроды! Завидуют! И злятся, что они вот уроды, а мы – нет.

Понесло Олекму невзначай. Ну а чего они все время умничают? Кому – кому, а девке вообще не престало рот открывать. А она туда же.

– Ты тоскуешь по своей земле. Там тебе должно быть очень хорошо?

– Нормально. Раньше еще лучше было, говорят.

– А что случилось?

– Так я же говорю: уроды виноваты. Не захотели нормально жить как все, развязали войну. А у нас оружие знаешь какое?! Это тебе не каменным ножиком махать! Все спалили почти, пока сопротивление не сломили окончательно, не обезвредили всех. Вот так вот и вышло все по уродски: ни себе, не людям. В одном мы ошиблись: надо было перестрелять их всех, и дело с концом. Так нет же, великодушие победителей проявить решили – выселили на Луну. А они на Луне очухались маленько, и по-новой пакостят.

– Что такое Луна?

Олекма задумался… Не так просто оказывается объяснять простые вещи. Но решил себя в руки взять и хоть что-нибудь девке растолковать. Как маленькой. Как Отец…

– Вот ты хоть знаешь что планета, вот эта самая штука под ногами, она круглая?

– Ну-у… Почти. Немного сплюснутая с полюсов.

– Ладно, уже неплохо. Так вот! У моей Земли есть еще спутник. Поменьше шарик, который вокруг вертится. У вас такого нет, а у нас есть. Это Луна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.